

Александр Жолковский

## **СТРАХ, ТЯЖЕСТЬ, МРАМОР**

(Из материалов к жизнетворческой биографии Ахматовой)

### **1. Бронзовое и женское**

Как известно, на литературной судьбе Ахматовой существенным образом сказалось ее со-противопоставление Маяковскому, начало которому положила злополучная статья Чуковского (1921). Эта оппозиция заняла соответствующее место и в ахматоведении, причем с некоторым перекосом в сторону контраста. Между тем, в исторической перспективе и в свете теперешнего интереса к проблематике жизнетворчества, явственно проступают сходства этих поэтических фигур.<sup>1</sup> По-видимому, и для самой Ахматовой "стрданное сближение" с ее признанным антиподом-мужчиной – харизматическим «пророком», «главарем», «делателем жизни» – было привлекательнее сваливания в одну кучу с многочисленными современницами.<sup>2</sup>

Общим местом психологических портретов Маяковского является контраст между его внешней грубоостью и внутренней уязвимостью. Таков был миф, сразу же заданный им самим:

Ведь для себя не важно  
и то, что бронзовый,  
и то, что сердце – холодной железкою.  
Ночью хочется звон свой  
спрятать в мягкое, в женское.  
(«Облако в штанах»; 1914; 1: 176),

и успешно внедренный им в культурную традицию:

Шесть лет спустя после смерти Маяковского... Мейерхольд сказал: «... Эта напускная самоуверенность была для него своеобразной броней... Грубость Маяковского была беспредельно хрупкой» (Анненков 1: 179).

Сначала «грубость» носила хулигански-футуристический характер, затем окрашивалась в революционно-гражданские тона, но ее соотнесенность с «нежностью» оставалась инвариантной.

Как это ни парадоксально, сходный комплекс может быть обнаружен у Ахматовой. Бегло напомню соображения Недоброво о ее "железной" силе – хотя и скрытой за жалким "юродивым" обличком; слова Маяковского о способности ее "монастырских" стихов выдержать давление его баса – несмотря на хрупкость выражаемых чувств; и ее собственное сравнение себя с "танком" – вопреки производимому впечатлению "слабенькой".<sup>3</sup> Очевидно и кардинальное различие в трактовке этой оппозиции: если у Маяковского под железом скрывается ранимость, то у Ахматовой, наоборот, под хрупкостью таится железо. Он разыгрывает, так сказать, мужской вариант «силы/слабости», она – женский.

Мы обратимся не к стихам Ахматовой, являющим ее отшлифованный почти до непроницаемости поэтический автопортрет, а к ее «жизненному тексту», зафиксированному в воспоминаниях и отзывах современников. При всей своей предположительной документальности, конечно, и он представляет собой тщательно отделанный артефакт, вышедший из мастерской Ахматовой, которая как бы непрерывно позировала для скрытой камеры, «говорила на запись» и вообще с искусством лепила свой имидж.<sup>4</sup> Все же тут броня авторского контроля нет-нет да и дает трещину, позволяющую заглянуть за кулисы жизнетворческого спектакля.<sup>5</sup> Тогда за медальным «дантовским» профилем великой поэтессы, пророчицы, героини сопротивления, прекрасной статуи обнаруживается мучительная и не всегда привлекательная игра страха, высокомерия, актерства, садомазохизма, властолюбия.

Эта игра, следующая, в общем, той же, что у Маяковского, сверхкомпенсаторной логике превращения неполноценности в силовой триумф, носит у Ахматовой, как было сказано, более утонченный – «женский» – характер. Отличается она и по существу, апеллируя к иным слоям личностной и общественной психики, обеспечивающим ее имиджу большую долговечность. Но прежде чем ставить подобный социо-психологический диагноз, присмотримся к характерным ахматовским «слабостям» и способам их преодоления – претворения сора и стыда в тяжеловооруженные, хотя и затейливо замаскированные, экзистенциальные рати.<sup>6</sup>

## 2. Страхи

По отдельности различные «фобии» Ахматовой охотно констатируются мемуаристами, но никогда не объединяются под такой единой рубрикой, не говоря уже о том, чтобы наталкивать на общую проблематизацию ее имиджа.

Ахматова панически страшилась уличного движения. Об этом пишет чуть ли не на каждой странице Лидия Чуковская, то же подтверждают и другие:

При переходе через улицу Анна Андреевна брала меня под руку (Любимова: 431).

Ахматова боялась... переходить улицу, по которой сновали много транспорта (Адмони: 334).

Другой всем известный пункттик – знаки препинания в собственных текстах, причем Чуковская считает обе фобии связанными.

Не умея – или не желая...? – заниматься подготовкой стихов к печати, их выбором, правкой корректур, расстановкой знаков препинания, Ахматова поручала это другим (Иванов: 500). Со знаками у нее такая же мания, как с переходом через улицу; она их расставить может очень хорошо, но почему-то не верит себе и боится (Чуковская 1: 119).<sup>7</sup>

Еще одним постоянным рефреном через воспоминания об Ахматовой проходит мотив «яви по вызову», часто сопровождаемой почтительными, но недвусмысленными жалобами вызываемых. Иногда вызовы мотивируются особыми обстоятельствами, например, болезнью, но «безотлагательны» они всегда.

Утром звонила Анна Андреевна и, как водится, требовала, чтобы я появилась немедля. Но я не могла и пришла только вечером (Чуковская 2: 437).

Вчера я сильно устала днем и, вернувшись из библиотеки, легла. Звонок. Говорит Владимир Георгиевич [Гаршин]: «Анна Андреевна нездорова и умоляет вас прийти».

Вчера вечером Анна Андреевна позвонила мне и очень настойчиво попросила прийти. Я отменила работу с... и пошла к ней по проливному дождю.

Анна Андреевна позвонила мне и попросила прийти к ней. По правде сказать, просьба довольно безжалостная, ибо мороз 35° (Чуковская 1: 78, 168, 53).

Наконец, я решилась ей позвонить... Я спросила, можно ли прийти. – «Можно». – «А когда?» – «Сейчас»... Через много

лет я рассказала об этом Лидии Корнеевне. Она усмехнулась: «Она всегда так. Если можно – то сейчас!». И я помчалась (Зернова: 22).

За фасад этой лестной, но обременительной немедленности привелось заглянуть одной из гостеприимных московских хозяек Ахматовой:

Она любила знать с утра, что вечером кто-то придет... Нервничала, если редко звонил телефон... Однажды... [она] на некоторое время должна была остаться одна... Анна Андреевна решительно заверила меня, что... она даже любит побыть одна... Мы собирались уходить, но в последнюю минуту я замешкалась... а дочка моя убежала... Едва за ней захлопнулась дверь, как я услышала, что Анна Андреевна звонит по телефону. Она вызвала одну свою молодую приятельницу и стала настойчиво просить ее немедленно приехать, потому что она одна, совершенно одна. Она с таким отчаянием повторяла «совершенно одна», что чувствовалось: для нее это невыносимо... Я постаралась выйти как можно тише, чтобы не смутить ее (Алигер: 363–364).

О подоплеке безотлагательности догадывались и другие – прежде всего, Чуковская.

Я отдохнула немного и пошла... хотя и понимала, что ничего не случилось, что просто она не спала, ей тоскливо, и она хочет, чтобы кто-нибудь сидел возле. Действительно, она «просто не спала» (Чуковская 1: 78).

Вечером все получилось неудачно. Анна Андреевна позвонила, когда у меня сидел гость, и попросила прийти скорее, потому что она осталась одна в квартире и ей «неуютно». Я же была связана. Когда же гость ушел и я... выбежала на улицу... то оказалось: салют, Красная Площадь оцеплена... новая задержка. Ардовы были уже дома. Зря я неслась сломя голову... (Чуковская 2: 73).

Боже, как неуютна была ее жизнь! Часами молчал телефон, неделями никто не приходил. Ахматова страдала от одиночества (Роскина: 522).

В роли дамы она долго выдержать не могла, но всегда, получив приглашение в приличный дом, готовилась к ней. Что же касается приглашений, то она их принимала все, сколько бы их ни было, потому что обожала бегать по гостям, приводя в ужас и меня и Харджиева: куда она еще побежит? В гости ей всегда приходилось брать с собой какую-нибудь спутницу – ведь она боялась выходить одна... (Н. Мандельштам 1991: 320)

Анна Андреевна в те времена нигде не появлялась одна. Во всяком случае, я не видела ее входящей в какое-либо общество одной. Ее всегда кто-нибудь сопровождал (Наппельбаум: 200). О некоторых из людей, как будто к ней приближенных, она могла говорить и весьма осудительно, а иной раз с подозрительностью. Считала она их всех крестом, который надо нести?... Быть может.. возникла и боязнь одиночества... Этот водоворот людей вокруг Ахматовой Пастернак назвал «ахматовкой» (Иванов: 500).

Усугублялось с годами и то, что Пастернак когда-то называл «ахматовкой», – самые гостеприимные хозяева начинали иногда добродушно подсчитывать звонки, которых бывало по 20–30 в день и на которые им часто приходилось отвечать за Анну Андреевну (Виленкин: 104).

Приведенные наблюдения принадлежат самим разным свидетелям и относятся к разным периодам жизни Ахматовой, к хождению в гости и приему гостей, к общению с людьми достойными и не очень, но мемуаристы единодушны как в констатации, так и в объяснении проблемы. А П.Н. Лукницкий, конфидент Ахматовой в середине двадцатых годов, задает ей и прямой вопрос:

Я: «Это очень трудно – не быть одной все время?». Анна Андреевна отвечает, что времени, когда она одна, у нее достаточно (1991, 1; 153).

Этот страх одиночества естественно поставить в связь с еще одним хорошо засвидетельствованным комплексом Ахматовой – полукоммунальным проживанием на чужих квартирах. В разное время и по разным внешним причинам Ахматова жила "у людей": в имениях своих родственников и родственников Гумилева и на различных чужих дачах; на квартире Артура Лурье и Ольги Судейкиной; одновременно у Шилейко в Мраморном дворце и у Пунина в Шереметьевском (в начале романа с Пуниным); в комнате по соседству с Пуниными (после разрыва с Пуниным); в гостях у многочисленных знакомых во время визитов в Москву; в Комарове и домах творчества в обществе той или иной подруги-помощницы к концу жизни. Общей чертой всех этих жилищных мизансцен было уклонение от самостоятельного проживания в собственной квартире.

Зощенко с каким-то листом, присланным из Москвы и уже подписанным кое-кем,... ходит в Ленсовет просить для нее квартиру... Я так хочу ей человеческого жилья! Без этих шагов и пластинок за стеной, без ежеминутных унижений [со стороны бывшего мужа, его семьи и других соседей]! Но она, оказывается, совсем по-другому чувствует: она хочет остаться здесь,

с тем чтобы Смирновы [соседи и, повидимому, стукачи] переехали в новую комнату [в той же квартире]...

— Право же, известная коммунальная квартира лучше неизвестной [отдельной]. Я тут привыкла (Чуковская 1: 50–51).<sup>8</sup>

Это 1940 год. Тот же сюжет повторяется через 13 лет, в период оттепели:

[О]на боится, что Сурков предложит ей квартиру в Москве... Анна Андреевна жить одна не в состоянии, хозяйничать она не могла и не хотела никогда... Теперь ей гораздо удобнее жить в Москве не хозяйкой, а гостьей. (Судя по ее частым наездам в Москву, в Ленинграде, «у себя», ей совсем не живется.) (Чуковская 2: 32).

Впрочем, оправданию неумением хозяйничать противоречит другое свидетельство той же Чуковской:

Я призналась, что сильно хочу есть, и Анна Андреевна, к моему удивлению, очень ловко разогрела мне котлету с картошкой на электрической плитке. — Да вы, оказывается, отлично умеете стряпать, — сказала я. — Я все умею. А если не делаю, то... из злорадства (1: 108).

Дело, таким образом, не в практических соображениях, а во властолюбивом умении поставить других себе на службу, которое Ахматова находится кокетливым признанием обезвредить в глазах летописицы.

Но и на этом игра не кончается. Ахматовская «соборная тяга к людям» не менее настоятельна, чем ее компенсаторная «воля к власти»: как благородная «слабость» первой, так и манипулятивная «сила» второй призваны заглушить и закамуфлировать питающий их страх пустоты и одиночества. А обратной стороной этого искусства камуфляжа является опять-таки актерская природа властовования.

Но вернемся к фобиям. Начиная с тридцатых годов Ахматовой, как и многими, владел пронизывавший советскую жизнь «страх преследования».

Она побледнела, приложила палец к губам и проговорила шепотом: «Ради бога, ни слова об этом. Ничего нет, я все сожгла. И здесь все слушают, каждое слово». При этом она показала глазами на потолок... «Только на улице не будем разговаривать» (Виленкин: 28–29).

[О]на не избежала отравы шпиономании:... недостаточно основательно предполагала, а предположив, убеждала себя и других, что такая-то «к ней приставлена», такой-то «явно стукач», что кто-то взрезает корешки ее папок, что заложенные ею в руко-

пись для проверки волоски оказываются сдвинутыми, что в потолке микрофоны и т. д. (Найман: 115).

— Эмма, что мы делали все эти годы?... Мы только боялись! (Герштейн 1992: 10).

Анна Андреевна рассказывала о своей жизни как бы отстраненно... но это только частично скрывало страстные убеждения... [О]на не щадила даже друзей, с догматическим упрямством в объяснении мотивов и намерений, особенно когда они имели отношение к ней самой, — что казалось даже мне... неправдоподобным и... вымысленным... Бешено капризный характер сталинского деспотизма... делает затруднительным верное применение нормальных критериев... Ахматова строила на догматических предпосылках... гипотезы, которые она развивала с исключительной последовательностью...

Она... думала, что Сталин дал приказ, чтобы ее медленно отравили, но потом отменил его...; что поэт Георгий Иванов (которого она обвиняла в писании лживых мемуаров в эмиграции) был какое-то время полицейским шпионом на жаловании царского правительства...; что Иинокентий Анненский был затравлен врагами до смерти... (Берлин: 289–290).

Мысль Берлина о пааноическом максимализме ахматовской логики вторит соображениям В. Г. Гаршина, который был близок с Ахматовой в конце 30-х годов, и Чуковской:

[Гаршин:] — [Е]й необходимо уехать... из этой квартиры. А она ни за что не уедет... потому, что боится нового... Вы заметили: она всегда берет за основу какой-нибудь факт, весьма сомнительный, и делает из него выводы с железной последовательностью, с неоспоримой логикой?...

[Гаршин] находит, что она на грани безумия. Волосок. Опять сетовал на ложность посылок и железную логику выводов... [О]на не борется со своим психозом...

Зазвонил телефон. Анна Андреевна подошла к нему и вернулась совершенно белая.

— ...Это, конечно, оттуда. Женский голос: «Говорю с вами от имени ваших почитателей. Мы благодарим вас за стихи, особенно за одно». Я сказала: «Благодарю вас»... Для меня нет никакого сомнения.

Тут я столкнулась вплотную с той железной логикой, развернутой на основе неизвестного или даже не бывшего факта, о которой говорил мне В. Г. (Чуковская 1: 130, 144–145, 180).

Как это часто бывает, а, главное, типично для ахматовских стратегий претворения «слабости» в «силу», мания преследования сплетена с манией величия.

[О]на добавила, что... мы – то есть она и я – неумышленно, простым фактом нашей [несанкционированной властью] встречи, начали холодную войну и тем самым изменили историю человечества. Она придавала этим словам самый буквальный смысл и... рассматривала себя и меня как персонажей мировой истории, выбранных роком, чтобы начать космический конфликт... Я не смел возразить ей... потому что она восприняла бы это как оскорбление ее собственного трагического образа Кассандры – и стоящего за ним исторически-метафизического видения, которое так сильно питало ее поэзию (Берлин: 283–284).

Берлин видит коренную связь между личными фобиями Ахматовой как подданой сталинского режима и всем ее харизматическим самообразом. Паранойя, перерастающая в *mania grandiosa* и таким образом укрепляющая жизнетворческое самосознание опального художника, – характерный феномен, позволяющий говорить о своеобразном симбиозе тоталитарного лидера и противостоящего ему поэта.<sup>9</sup>

Сверхподозрительность Ахматовой вызывалась не только более или менее обоснованным "госстрахом".<sup>10</sup> Одним из типичных генераторов ее фобий были "неправильные" мемуары и биографические работы о ней (и Гумилеве), угрожавшие посмертной судьбе ее жизнетворческого текста (ср. выше свидетельство Берлина).

Снова, как всегда, разговор переходит на мемуары, воспоминания современников, которые, по ее мнению, всегда искажают и извращают. Она сама в ужасе от мемуаров.

Она страстно ненавидит – и боится – авторов «художественных биографий». «Я бы хотела организовать международный трибунал и выносить суровые приговоры всем этим Каррам, Моруа, Тыняновым...» (Островская: 44, 37).

Достоверность этих свидетельств не очень благожелательной мемуаристки подтверждается по существу – воспоминаниями других современников об озабоченности Ахматовой своим имиджем, а по форме – ее известной склонностью к игре с советскими клише (вроде "организации международного трибунала").

### 3. Тяжесть и агрессия

В соответствии с брошенным Островской замечанием о связи страха и ненависти, у названных фобий имелась сильная агрессивно-оборонительная изнанка. Ахматова могла не только испытывать страх, но и внушать его, иными словами, была не только жертвой параноической атмосферы, но и ее проводником и даже источником. Своим моральным и физическим

весом, неприступным молчанием, величавым присутствием-отсутствием Ахматова производила гнетущее, а то и устрашающее действие на незнакомых с ней, отбивая у них дар речи, память и другие человеческие способности. Слова "робость", "страх", "трепет", "оцепенение", "тяжесть" и т. п. кочуют из одних воспоминаний о ней в другие.

У меня сперло дыхание, и я почти ничего не помню о нашей первой встрече, помню только ее одну... Наверно, я читала стихи... Что она о них говорила, я не помню, несмотря на то, что это было бесконечно важно для меня.

[С]транное дело, эти люди не запоминались... Таково уж было свойство Анны Андреевны: без всякого намерения, помимо своей воли, она вытесняла, затмевала всех окружающих, они тушевались, стирались из памяти. Их словно не было, когда была она (Алигер: 349, 360).

[О]бреченнность... излучавшая силу. Как и все, чьи первые визиты к ней я наблюдал потом, я... «вышел шатаясь», плохо соображая что к чему, что-то бормоча и мыча. Я уходил, ошеломленный тем, что провел час в присутствии человека, с которым... ни у кого на свете не может быть ничего общего. Я поймал себя на том, что мне уже не важно, понравились ли ей мои стихи или нет... (Найман: 13).

Кстати, о робости.... В первые минуты и люди почтенного возраста, и молодые, знаменитые и не знаменитые, почти каждый, знакомясь с ней, робел и лился обычной непринужденности. Пока она молчала, это было даже мучительно... (Козловская: 385–386).

Анна Андреевна вообще была неразговорчива... у нее была тягостная манера общения. Она произносила какую-нибудь достойную внимания фразу и вдруг замолкала. Беседа прерывалась... и восстановить ее бывало трудно... [Э]та «прерывность», противоречащая самому существу «беседы», была тяжела... величавость поведения сдерживала свободное излияние мысли (Шервинский: 285)

[С]тало как-то страшно даже, точно увидела человека из другого мира; [я] не смела на нее смотреть (Любимова: 420, 422).

Общение с Анной Андреевной при свиданиях с ней с глазу на глаз всегда было нелегким. Трудность эта иногда переходила даже в какую-то тяжесть (Виленкин: 24).

Величавость... Преодолеть робость, не скрою, поначалу было нелегко... показалось, что такой... могла быть, в лучшие свои минуты, Екатерина II... (Гозенпуд: 311).

Не без трепета входил я в огражденную затейливой чугунной решеткой усадьбу графа Шереметьева... (Эвентов: 360).

[Ахматова:] – Лотта уверяет, что однажды, когда я в Клубе писателей прошла через биллиардную, со страху все перестали катать шары (Чуковская 1: 162).

Видела... я только ее... Она села. Веранда, только что гудевшая оживленными голосами, затихла, замерла... Наши оживленные застольные беседы замолкали с ее появлением... Присутствие Ахматовой сковывало и тех, кто ничего о ней не знал. В ее молчаливости, в посадке головы, в выражении лица, во всем облике было нечто, внушавшее каждому почтение и даже робость.

[Эта] величав[ая] женщин[а], уме[ла] оцепеняюще действовать на присутствующих (Ильина: 569–570, 573).

Во всех состояниях видел я Твардовского у телефонного аппарата. Но... оробевшего, лишь только стал набирать номер [Ахматовой], – такого не видел... В голосе Твардовского были какие-то не слышанные мной раньше сверхпочтительные интонации. И напряжение: не обронить бы не то слово (Кондратович: 674–676).

Мне часто задают вопрос, не жалею ли я, что на год опоздал, что не имел возможности лично познакомиться с Анной Ахматовой... [С]кажу, что я этой случайности даже немного радовался. Многочисленные рассказы о том, как многие страдали, падали в обморок или теряли способность к речи при визитах к этой страшноватой даме, на меня сильно действовали, – мне тогда было двадцать семь лет, и у меня был характер несколько застенчивый (Верхейл: 47).

Вспомним также, что Исаия Берлин "не смел возразить" Ахматовой на самые фантастические речи и потому "молчал". На этом фоне редкими смельчаками выглядели люди, трепета не испытывавшие.

[Она] сказала мне: – А вы меня не боитесь... Ахматова не внушила мне той цепенящей робости, того придыхания, которое овладевало многими людьми, посещавшими ее... я ужасно жалел ее (Меттер: 385).

«Подавляющая» уже сама по себе, Ахматова становилась еще «страшнее», когда сознательно становилась на позиции «силы» (в том числе – «силы через слабость»).

[Б]ез телефонного звонка зашла одна моя приятельница и застала у меня Ахматову. На моих глазах Анна Андреевна обличилась в свою непробиваемую броню... Приятельница моя оробела... говорила не полным голосом, а шепотом, будто рядом больной. Сильное впечатление умела произвести Ахматова на свежего человека! (Ильина: 591).

Когда Надя представила меня Ахматовой, она лежала, вытянувшись на тахте в своих красных штанах, и сделала особенное лицо, надменное и жеманное. Это меня обидело: ведь я не из тех, о которых, по словам Нади, она говорила недовольно:

«Они делают из меня монумент». Долго еще меня не покидала скованность в ее обществе... Впоследствии я часто замечала, что перед женщинами Анна Андреевна рисовалась, делала неприступную физиономию, произносила отточенные фразы и подавляла важным молчанием (Герштейн 1991, 1: 248).

[М]аленький Лева просил ее: «Мама, не королевствуй!» Страх оказаться рядом с ней мелким сковывал самых близких людей (Роскина: 532).

Мне скучно и неприятно. Я просто не выношу Ахматову в больших дозах. Она лицемерна, умна, недобра и совершенно поглощена собой.

С ней очень тяжело.

Ахматова холодна и неприятна.

Я часто вижу Ахматову – она держится с ледяной холодностью и надутостью – она снова печатается! (Островская: 52, 53, 58, 68).

Интересный сюжет складывается из двух независимых рассказов помощниц, посещающих Ахматову в больнице.

Вообще к старости она стала сердиться по всяким пустякам, часто раздражалась без причины... [Я] спросила, что привезти в следующий раз. Она сказала – боржом. Когда я притащила тяжелую сумку с бутылками, то услышала: «Вы привезли боржом? Он мне совершенно не нужен, можете увезти его обратно» (Роскина: 529).

В неурочное время телефонный звонок: Анна Андреевна просит немедленно приехать, передает медсестра. Встревоженная, я помчалась в больницу... Свой взъявленный рассказ Анна Андреевна начала фразой: «Пришла НН, стукнула на стол боржом и сказала...» (Герштейн 1991, 2: 546).

Знаменательна реакция Герштейн (явившейся по «немедленному вызову»):

[Я] не переставала дивиться памяти [Ахматовой]...: задолго до инфаркта я обратила ее внимание на смелость выражения Л. Толстого в повести «Хозяин и работник»: «молодайка... обмахнув занавеской... самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол» (там же).

Загипнотизированная цитатными играми Ахматовой, Герштейн в упор не замечает ее капризного помыкания обеими заботливыми "подданными".<sup>11</sup>

Но это, так сказать, житейские мелочи, настоящий же «гнев» приберегался для провинившихся на литературном фронте.

— Это они сделали без моего ведома и теперь боятся показываться мне на глаза (Ахматова по поводу объявления издательством ее книги о Пушкине; Латманизов: 509).

[О]дна наша родственница... позволила себе... что-то высказать о Пушкине. Анна Андреевна тут же наложила на нее руку, и бедная любительница Пушкина затрепетала, как мотылек на ладони. Хорошо, что божественный гнев прорывался не часто, его суровость ставила жертву в трудное положение. Трогать Пушкина при Анне Андреевне было небезопасно (Шервинский: 285).

Среди типовых возбудителей ахматовского гнева были:

— уже упоминавшиеся вольности, реальные или воображаемые, в обращении с биографиями Гумилева и ее собственной:

... [Ахматова] угрожающее: — Я сделаю... из них... свиное отбивное... (о западном издании Гумилева; Чуковская 2: 454)

Гнев в ней вызывали публикации тех авторов мемуаров, которые писали о том, как она якобы ревновала Гумилева (Иванов: 498)

[Н]аибольший гнев она обрушивала на Кузмина... и особенно темпераментно она негодовала на эмигрантских поэтов-мемуаристов, касавшихся в своих писаниях ее личной жизни, — на Г. Иванова, К. Маковского, И. Одоевцеву. В их воспоминаниях она находила измышления и искажения («вранье», как она говорила) (Максимов: 113);

— ревнивое отношение к другим поэтам и даже недовольство критиками, занимавшимися не ее творчеством или недооценившими ее, Гумилева или Мандельштама:

Однажды, гуляя... я позволил себе сказать, что мне никогда не была близка поэзия Гумилева. Я тут же понял, что этой темы лучше не касаться. Анна Андреевна реагировала на мое замечание бурно, почти резко... (Шервинский: 296)

... похожее на соперничество отношение к тем наиболее выдающимся современным ей русским поэтам, с которыми ее обычно сопоставляли... оттенок недовольства тем, что я занимаюсь не ее поэзией, а творчеством Блока (Максимов: 120 – 121)

Как Анна Андреевна ни дружила с Харджиевым, одной вещи она ему никогда не прощала.. как он смеет любить не только Мандельштама, но и Хлебникова! Анна Андреевна даже подозревала, что он любит Хлебникова больше Мандельштама, и это приводило ее в неистовство (Н. Мандельштам 1991: 322– 323);

— нарушение этикета по отношению к ее литературному имени:

В 1953 году Эм. Казакевич напечатал... «Сердце друга». Там есть такая фраза: «Девочки увлекались стихами Анны Андреевны Ахматовой». Она была просто вне себя, «Я ему не Анна Андреевна! Я не имею чести быть знакомой с этим господином! Я Анна Ахматова и никак иначе он не смеет меня называть!». Пытаясь ее успокоить, я стала невнятно оправдывать Казакевича... Ахматова закричала: «Ах, вот что! Вы, значит, считаете, что можно так поступать... вы никогда не станете литератором!» (Роскина: 528);

– любая непредусмотренная утечка информации:

Анна Андреевна... стала сердиться и тогда, когда вообще что-то становилось известно о ней, даже если это была правда (Роскина: 528);

- не одобряемые ею жены и возлюбленные выдающихся людей (Пушкина, Блока, Гумилева, Модильяни, Пастернака, Мандельштама), а часто и сами эти люди (Цветаева и даже Пастернак, не говоря уже о Кузмине, Г. Иванове и Цветаевой);
- вообще всё, что выходило из-под ее контроля или нарушало желанный самообраз, вплоть до мелочей быта, снижающих ее олимпийски-королевственный имидж:

Анна Андреевна приехала в Москву, позвонила и огорчилась: она не любит, когда я не на месте (Чуковская 2: 404; Чуковская в это время была в Крыму).

Хозяйство... вела Сарра Иосифовна Аренс [жена брата жены Пунина], почти семидесятилетняя старушка, маленькая... с печальными глазами. Тихая, иежная, услужливая, самоотверженная, она боялась Ахматовой, но ничего не могла поделать с неистребимым желанием дать отчет о расходах и находила момент пробормотать о подорожавшем твороге, на что та немедленно разъярялась: «Сарра! я вам запретила говорить мне про творог» (Найман: 147).

Не ограничиваясь простыми защитными реакциями, Ахматова предавалась и более изощренным – "зловредным" – властным играм.

– Федор Кузьмич [Сологуб] очень не любит, когда к нему рано приходят. Я знала это, но все-таки пошла рано – из зловредства, конечно!... Он сказал мне: «Приходите каждый день!» Аренп посмотрел на нее и сказал «Вы глупы». АА рассказывает это как характеристику того, до чего она может довести даже такого выдержанного человека, как Б. В. Аренп (Лукницкий, 1: 122–123, 96).

[У] нее были свои требования к собеседнику, которые не всегда легко было понять. С одной стороны, конечно, предполагалась любовь к ее стихам, знание ее поэзии, а с другой стороны – ее раздражало, что ей смотрят в рот, не осмеливаются ни в чем возразить (Роскина: 533).

Не со всеми подобные садомазохистские маневры проходили безнаказанно.

АА: «К [В. К. Шилейко] я сама пошла.. Чувствовала себя такой черной, думала очищение будет». Пошла, как идут в монастырь, зная, что потеряет свободу... Шилейко мучал АА... (тут у АА... на губах дрожало слово «sadiste», но она не произнесла его. А говоря про себя, все-таки упомянула имя Мазоха).

Шилейко всегда старается унизить АА в ее собственных глазах, показать ей, что она неспособна, умалить ее всячески (Лукницкий, 1: 44, 237).

Может быть, она и добра. Может быть. [Но] в ней очень много злобы и злословия, как и в ее «Поэме»... [О]на очень одинока. Орица.

«Ваша "Поэма" полна злобы и непрощения» [говорю я ей].

[Она] капризна... подвержена колебаниям своих ненадежных и хрупких настроений... часто больна.

Ахматова всегда знает, как зарезать, выбирая самые невинные слова и самые ядовитые интонации (Островская: 9, 10, 16, 19).

Некоторые мемуаристы не ограничиваются констатацией ахматовской «агgressии» и предлагают психологические объяснения.

Она одинока – очень. И начеку... из недоверия и боязни новых ран (Островская: 44).

А... скрывалось за внешним обликом вот что. Как у многих женщин... в душе Ахматовой жила стихия боязней, испугов и страхов, постоянное ожидание беды... обостренное до предела (Адмони: 334).

[В] душе у Анны Андреевны накопилось столько тяжелого, что оно не могло не обнаружиться в любом разговоре. В молчаливости Ахматовой таилось нежелание открывать себя перед людьми... можно было уловить в словах Анны Андреевны горькую ноту... [Б]рак с Пуниным был ее третьим «матримониальным несчастием» (Щервинский: 288).

И снова за общими трапезами я вижу Ахматову величественно-строгой, сурово-неприступной. Теперь я знаю, что это броня ее... (Ильина: 572).

[Г]ордыня доводила ее иногда... до капризов, проявлений несправедливости, почти жестокости... я вполне отчетливо ощу-

щал шевеление в ней этой гордыни. Самоутверждение принимало у нее подчас наивные формы (Максимов: 120).

Аналогичные компенсаторные модели поведения усматривают у Ахматовой и ее западные исследователи. Бет Холмгрен в своей книге о Надежде Мандельштам и Лидии Чуковской констатирует психологические проблемы Ахматовой, которая была "«негодной [unfit] матерью» своему сыну и самой себе" (1993: 198) задолго до наступления сталинского ада и в дальнейшем спроектировала эту черту на обращение со своими текстами, которые она передоверяла коллективным заботам своих помощниц.<sup>12</sup> Согласно Роберте Ридер, американскому биографу Ахматовой, своими корнями этот склад характера мог восходить к травматическим детским впечатлениям от беспомощного безволия матери, которую обманывал, а затем и покинул муж – отец Ахматовой (1994: 2–3).

#### 4. Деспотизм

Почти обязательным компонентом воспоминаний об Ахматовой является «монархическая» метафора – оставляемое ею впечатление царицы, королевы, императрицы, повелительницы, Екатерины II. Правда, вопреки классическому *Ты царь: живи один...*, «одиночества» она как раз боится. Дело в том, что для Пушкина «поэт = царь» – метафора сугубо внутрилитературная, тогда как Ахматову интересует и ее мирское, жизнетворческое овеществление. Реальный же монарх, разумеется, немыслим без придворных, а тем более, монарх изображаемый, – короля, гласит театральная мудрость, играет свита. Отсюда "ахматовка",очные вызовы и вообще "королевствование" – то в вельможающейся тронной позе, то в лежачем состоянии, могущественном, так сказать, в силу своей слабости. Ср.

Анна Андреевна величественно сидела посреди дивана и высочайше покровительствовала остротам.

– Были болгары? – Были.... Я приняла их верноподданнические чувства... (Чуковская 2: 15, 469).

Анна Андреевна благосклонно принимала поздравления, сохранив спокойную величественность... Вспоминая... чаще всего рассказывала о [статуе] римлянина[а], который следил за ней своими мраморными глазами во время торжеств [в Италии] (Пунина 3: 668).

[И]следование о «Золотом петушке» Пушкина ей помогал писать Н. И. Харджиев. "Я лежала больная, – с удовлетворением говорила Анна Андреевна, а Николай Иванович сидел напротив, спрашивал: «Что вы хотите сказать?» – и писал сам (Герштейн 1991, 2: 251).

В ее комнате холодно и безрадостно... Она объясняет: уже три дня не топят. У профессора [Пунина] и Ирины нет времени... А вчера она была в Союзе, поднималась по лестницам... и это... вызвало сердечный приступ.

Не сказав ничего, она сказала многое: дело не в лестницах и не Союзе Писателей, а... в напряженных отношениях с Пуниным и его дочерью. Очевидно их подчеркнутое безразличие к температуре в ее комнате, очевидна [ее] демонстративная болезнь – [ее] убийственное одиночество. Дело было не в ее сердце, возможно, и слабом. Она чисто по-женски умела искать в постели прибежище от обиды, неприятностей, капризов. Все списывается на болезнь и ничего не надо объяснять...

И... она... сделала этот великолепный жест беспомощности и обворожительной женственности, которая несмотря ни на что сознает свою страшную силу (Островская: 16–17).

В королевствовании (а порой и квази-советском администрировании) Ахматовой, отличавшемся тщательной продуманностью мизансцен и отточенностью жестов и реплик,<sup>13</sup> сказывалась ее despотическая воля к власти, имевшая самые разные манифестации от невинно шуточных до понастоящему жестоких. Начнем с довольно безобидной, но характерной виньетки из ее репертуара:

— Я болела. У меня был сильный жар. Я лежала в постели. Один посетитель принес кулек с конфетами и стал пересыпать их в вазу. Не поворачивая головы и не открывая глаз, я спросила: «Шестнадцатицублевые?» Я определила их по звуку (Ардов 1990: 674).

Эта сценка, предусмотрительно рассказанная самой Ахматовой "на запись" одному из распространителей ее биографического мифа (ср. заглавие его эссе: "Легендарная Ордынка"), многообразно перекликается с другими составляющими этот миф сюжетами. Ахматова предстает здесь в излюбленной лежачей позе, немедленно делающей ее объектом внимания и услуг анонимного посетителя. Несмотря на свою полную беспомощность, болезнь и температуру (им отведено три предложения), Ахматова не может оставить последнего слова за Другим и совершает небольшое чудо волхвования. Для этого ей не требуется ни малейших усилий (в том числе – открывания глаз), так что удается соблюсти условности как постельного режима, так и ясновидения: провербальному провидцу приличествует именно слепота ("Я определила их по звуку").

Ни малейших усилий – если не считать произнесения эффектной реплики, сработанной с образцовой ахматовской лапидарностью. Действительно, *Шестнадцатицублевые* это, с одной стороны, неполное предло-

жение, состоящее всего из одного номинализованного прилагательного, эллиптично повисающего в воздухе («слабость»), а с другой – трехчленное сложное слово («сила»), точно описывающее скромный («слабость»), но вполне конкретный и привлекательный предмет культурного обихода, своего рода "на блюде устрицы во льду" («сила»). Такова достойная пуанта этого маленького акмеистического шедевра.

Называнием коммерческой цены подарка, нарушающим один из неписанных запретов русского культурного обихода (особенно, если цена невысока), достигается дальнейшее унижение Другого. Но функция последнего к тому и сводится, чтобы быть скромным подателем услуги и пораженным свидетелем свершающегося чуда. Дальнейшая аудитория рекрутируется из слушателей этой устной истории, а затем и из ее читателей в составе письменной ахматовианы.

Речь уже заходила о пристрастии Ахматовой к советским штампам. Их шуточное употребление – еще одно проявление ее властных игр.

У Ардовых гостит... их родственница... Она больна... Что тут делать? Я «порылась в кадрах» – пересмотрела письма поклонников. Нашла письмо одного профессора, психиатра... Позвонила ему. Важный профессорский голос. Я назвала себя. Голос сразу другой... Через 20 минут он явился вместе с терапевтом. Нам были предложены неслыханные блага: любое... отделение лучшей... лечебницы города.

Тут Анна Андреевна и пожаловала мне орден «Славы» первой степени (за высказывание, совпадшее с ее мнением; Чуковская 2: 274, 163).

Гость не знает, надо ли уходить или еще остаться. – «Анна Андреевна, что делать с Н?» – «Оставить в живых!» (Мейлах: 156).

С этими ироническими начальственными нотками перекликаются нормативные "ценные указания", даваемые на полном серьезе тоном то ли классной дамы, то ли советского зава,

- Светония, Плутарха, Тацита и далее по списку – читать во всяком случае полезно... (Найман: 213–214).
- Достоевский у меня самый главный. Да и вообще он самый главный (Роскина: 533).
- Четкая формулировка: – Лучший в мире город – Париж, лучшая в мире страна –Италия (Ардов: 675).
- Коломенское... прекраснее Nôtre Dame de Paris... Это должен видеть каждый и притом каждый день.
- Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и вы-учить наизусть к а ж - ды й г р а ж д а н и и изо всех двухсот миллионов граждан Со- ветского Союза.

Она выговарила свою резолюцию медленно... словно объявляла приговор (об "Одном дне Ивана Денисовича").

— Мы еще с Осипом [Мандельштамом] говорили, что о Пушкине Марине [Цветаевой] писать нельзя (Чуковская 2: 2, 431, 437).

Сказала, что Клюев, Мандельштам, Кузмин — люди, о которых нельзя говорить дурное. Дурное надо забыть (Лукницкий, 2: 157).

— А если [эти непристойные эпиграммы] и пушкинские — я бы все равно их в однотомниках не печатала. И «Гавриилиаду». Раньше эта поэма имела антирелигиозный смысл, а теперь — один только непристойный... (Чуковская 1: 53–54).

К этим циркулярным формулировкам в области культурной политики<sup>14</sup> примыкают не менее решительные резолюции о людях.

В 60-х годах мы собирали... деньги в пользу... вдовы Андрея Белого... Ахматова... узнав, что один из наших хороших знакомых, человек вполне обеспеченный, отказался участвовать в сборе... в порыве гнева воскликнула:

— Он для меня больше не существует!

... О тех людях, которые не отвечали ее моральным требованиям, она говорила с уничтожающей резкостью и совершенно бескомпромиссно. Из имен этих осуждаемых ею лиц можно было бы составить «проскрикционный список». Не все в этом списке представляется бесспорным. На его состав в каких-то случаях могли влиять трудно уловимые для посторонних мотивы, в том числе личные антипатии Анны Андреевны (Максимов: 113).

— Я никогда не боялась физической боли. Однажды один мой знакомый мельком проговорился при мне, что боится удалить зуб без наркоза — сразу перестал быть мне интересен. Я таких людей не умею уважать (Чуковская 1: 99).

Характер поистине железный. В давно прошедшие времена некий критик... написал статью, которая могла быть истолкована как обвинение Ахматовой в антисоветских настроениях. Затем... критик «все понял» и просил передать Анне Андреевне, что, если она его не простит, он покончит с собой. Ахматова ответила: — Передайте... что это его личное дело (Ивановский: 619).

Красноречивым совмещением командных методов Ахматовой в обращении с текстами и с людьми было последовавшее за разрывом с Гаршиным уничтожение ею их переписки, запрещение знакомым упоминать о нем, снятие посвящений ему в "Поэме без героя" и, наконец, изображение его в стихах в виде чуть ли не бешеной собаки:

... А человек, который для меня  
 Теперь никто [.....]  
 Уже бредет как призрак по окрайкам,  
 По закоулкам и задворкам жизни,  
 Тяжелый, одурманенный безумьем,  
 С оскалом волчьим...  
 ("А человек, который для меня...", 1945; 1: 282)

Подобная эгоцентрическая бесцеремонность проявлялась и по менее значительным поводам.

Когда ей понадобилось подтверждение какого-то факта из истории 10-х годов, она по телефону попросила приехать Ольгу Николаевну Высотскую... сын которой от Гумилева был немного моложе Льва Николаевича. Мы с Борисом Ардовым привезли ее в такси с Полянки на Ордынку. Ахматова сидела величественная, тщательно причесанная, с подкрашенными губами, в красивом платье, окруженная почтительным вниманием, а ее когдатошняя соперница – слабая, старая, словно бы сломленная судьбой. Она подтвердила факт, на мой взгляд, второстепенный... и Ахматова распорядилась отвезти ее домой. Она подтвердила факт – и подтвердила победу Ахматовой... (Найман: 220–221).

Примерами деспотизма Ахматовой изобилуют записки ее верной помощницы Лидии Чуковской. Помимо приглушенных жалоб на «срочные вызовы», там есть и спорадические пассажи о барской капризности Ахматовой, и целый «репрессивный» сюжет, растянувшийся на десятилетие. Начнем с мелочей.

Не великодушно вело себя величье. Анна Андреевна целый день была со мною несправедлива и даже груба... Впервые... я увидела Анну Андреевну попусту капризничающей... Анна Андреевна, уже в платке и в шубе, стоит в передней, а я, тоже одетая, мечусь по комнате; пропал ключ... А для спешки-то моей собственно нет никакой причины; Анна Андреевна ранним вечером собралась домой – всего лишь; ... Ахматова... вся – гнев, вся – нетерпение... Как это я осмеливаюсь... заставлять ее, Анну Ахматову, ждать! вот что выражает в эту минуту статуя негодящей Федры...

Второй раз я помню ее такой же статуей возмущения, когда мы... шли к Пешковым в Ташкенте. Тьма... Анна Андреевна уже бывала у Пешковых, я – никогда. Но она стоит неподвижно, а я бегаю в разные стороны, тычусь в чужие ворота... Анна Андреевна не только не помогает мне, но гневным молчанием всячески подчеркивает мою виноватость: я неквалифицированно сопровождаю Анну Ахматову в гости.

Сознание, что и в нищете... она – поэзия, она – величие, она, а не власть, унижающая ее,... давало ей силы переносить... унижения, горе. Но сила гордыни оборачивалась пустым капризом, чуть только Анна Андреевна теряла свое виртуозное умение вести себя среди друзей как «первая среди равных»...

[Н]е знаю, что бушевало, каменело, созидалось, изнемогало в великой душе Анны Ахматовой, когда Анна Андреевна была со мною так несправедлива, так недружественна (Чуковская 2: 420–423).

Несмотря на скромное "не знаю", Чуковская предлагает убедительную модель ахматовского поведения как основанного на психологии осажденной крепости. Реакция на внешнюю угрозу, в данном случае – на репрессии со стороны властей, приводит к аналогичному обращению со "своими", в данном случае – к ахматовским "репрессиям" по отношению к самой Чуковской.

Последние не свелись к отдельным капризным выходкам, а вышлились в полное изгнание Чуковской из ахматовского круга – без предъявления обвинений, суда и следствия (1942 г.).

Внезапно... Анна Андреевна... демонстративно, наедине со мною и при людях, начала выказывать мне... свою неприязнь. Что бы я ни сделала и ни сказала – все оказывалось неверно, неуместно, некстати. Я решила реже бывать у нее. Анна Андреевна, как обычно, прислала за мной гонца. Я тотчас пришла. Она при мне переоделась и ушла в гости.

Что это означало? Не сама ли она объяснила мне еще в Ленинграде: «Благовоспитанный человек не обижает другого по неловкости. Он обижает другого только намеренно».

Вот она и принялась обижать меня намеренно... (хотя... и поручала мне попрежнему то навести справку в издательстве, то написать письмо Гаршину;... то принести в больницу чайник или протертое яблоко)... Но вот «[тифозный] чад» позади; Анна Андреевна... здорова; а обиды, наносимые мне, продолжаются. Насколько я понимаю теперь, Анна Андреевна не хотела со мной поссориться окончательно; она желала вызвать с моей стороны вопрос: «за что вы на меня рассердились?» Тогда она объяснила бы мне мою вину, я извинилась бы, и она бы великодушно простила... Но... совесть меня не мучила, никакой вины перед Анной Андреевной я найти не могла...

«Вас кто-нибудь оговорил!» – твердили мне свидетели происходящего... Разве за четыре года нашего знакомства она не успела узнать меня? (Чуковская 2: xvi–xviii).

Вероятно, по "делу" Чуковской был заочно и безапелляционно произнесен приговор типа "Она для меня больше не существует!". Разрыв пережил даже ждановское постановление.

В 1946 году... я рванулась было в Ленинград... но – остановила себя. Из страха перед властями? Нет. Из страха перед нею, перед Анной Андреевной... Снова навязать ей свою персону, пользуясь ее новой бедой, казалось мне грубостью. Я побаивалась, что мой внезапный приезд она истолкует как попытку возобновить наше знакомство, оборванное по ее воле...<sup>15</sup>  
Пойму ли я когда-нибудь, что случилось в Ташкенте? И – забуду ли?.... [И]спытannую боль, сознательно причиненную мне ни с того ни с сего – помню... (2: xiv, 385).

Но еще через шесть лет Чуковская решает, что

жить в стране, где живет и творит Ахматова, и не видеть и не слышать ее –... нелепость... Я набрала номер... назвала себя.  
– Приходите, пожалуйста, скорее, – сказала Анна Андреевна нетерпеливым голосом.  
– Я жду вас через 20 минут (2: xxxi–xxxii).

Даже с честью выйдя из испытания, Чуковская сохраняет внутреннюю неуверенность по поводу того, "что случилось в Ташкенте", создаваемую и усугубляемую программной установкой Ахматовой на непроницаемую тайну. Тем не менее, Чуковской и тут удается вскрыть суть дела. Психологический сценарий, согласно которому старший партнер молчаливо подвергает младшего суворому искусу, чтобы привести его не только к покорности, но и к "пониманию" собственной вины перед непогрешимым старшим, был, по-видимому, сознательно или подсознательно угадан Чуковской как основанный на хорошо известном сюжете, принадлежащем любимому писателю Ахматовой – Достоевскому. Именно такой дрессировке властным молчанием подвергает заглавную героиню "Кроткой" (1877) ее муж, однако «кроткая» оказывается достаточно «гордой», чтобы выдержать эту моральную блокаду, заставить его заговорить, а в ответ на его новое предложение любви – покончить с собой. Поединок между Ахматовой и Чуковской имел иной исход, но во многом ту же логику. Сходство это вряд ли случайно.

Американская исследовательница Сьюзен Эмерт (1993: 22–23) усматривает причину особой притягательности Достоевского для Ахматовой в роднящей обоих черте – «жестокости» таланта, ставшей с появлением в 1882 году известной статьи Н. К. Михайловского постоянным эпитетом Достоевского, а у Ахматовой пронизительно отмеченной еще Недоброво.

Мысль Эмерт можно развить, добавив к «жестокости» также «тайну», «чудо» и «авторитет», занимающие ключевое место в поэтическом мире и жизнетворческих стратегиях Ахматовой и являющиеся, согласно еще одному герою Достоевского – Великому Инквизитору, самыми надежными орудиями власти.

### 5. Мрамор и железо

Манипулятивные стратегии Ахматовой, ее сознательное отношение к жизнетворческим текстам вообще и своему собственному в частности и соответственная работа по «ретушированию» своей биографии – обширная тема.<sup>16</sup> Остановлюсь лишь на одном из ее ответвлений.

Ахматовское стихотворение памяти Мандельштама кончается строчкой: *Это пропуск в бессмертие твой* ("О, как пряно дыханье гвоздики..." ["Тайны ремесла", 9]; 1957; 1: 255). Сопряжение мысли о бессмертии поэта с бюрократической реалией успешно работает на подкупающее снижение, но за этой фигурой скромности (тем более, примененной не к себе, а к другому) слышатся «начальственные» нотки, уже знакомые нам по ахматовской апироприации советских штампов. Выступая в роли своего рода Святого Петра, заведующего загробным Бюро пропусков, Ахматова, хотя и с автодирионией, осуществляет здесь характерную для нее унию «классически имперского» с «советским».

В жизненном тексте Ахматовой пропуска занимают особое место. Щереметьевский дворец, где она жила во время и после брака с Пуниным, принадлежал Арктическому институту, и посещавшие Ахматову нуждались в пропусках, причем ей самой в этой парадигме тоже отводилась определенная бюрократическая роль.

С конца 1940-х годов в проходной Фонтанного Дома ввели систему пропусков для людей, приходивших в нашу квартиру. Пропуск выписывался вооруженной охраной при предъявлении паспорта, на нем проставлялись часы и минуты входа и выхода (Пунина 1991, 2: 472).

К ней домой, как и в институт, можно было проходить только по пропускам (Гитович: 503).

[К] ней все проходили с неизменным пропуском, который она потом отмечала (Любимова: 428).

Переезд Ахматовой и дочери Пунина с семьей из этого дома на новую квартиру произошел, наконец, в 1952 году.

Квартира понравилась А. А.... И никаких пропусков – свободный вход!... Но все-таки Фонтанный Дом и сад, загражденный...

от нас железной сеткой,... мы покидали с болью. Из родного дома, в котором столько было пережито, мы переезжали в неизвестность (Пунина 1991, 2: 472).<sup>17</sup>

Далее И. Н. Пунина цитирует стихотворение Ахматовой "Особенных претензий не имею..." (1952), где покидаемый Фонтанный дворец назван "сиятельный", а его кровля – "знаменитой". Хотя Ахматова при этом подчеркивает, что ... *Я ницей/ В него вошла и ницей выходит* (3: 75), в действительности она ценила богатую возможность помечать свои стихи Фонтанным Дворцом и любила его эмблему – герб со львами, короной и надписью DEUS CONSERVAT OMNIA, украшавший его фасад, а ныне вошедший в симболарий ахматовского культа. Как и во многих других случаях, Ахматова сумела обратить «слабость», в данном случае – проживание на птичьих правах и почти тюремном режиме, в «силу» – своеобразный синтез имперской и советской власти. Под первом, еще недавно уполномоченным отмечать пропуска, слова о пропуске в бессмертие, обретают дополнительную магию.

Говоря о об ахматовском «администрировании», я ради эксплицитности утрирую. Власть Ахматовой носила практически незначительный, прозрачный, чисто символический характер (что, впрочем, не мало для поэта и жизнетворца). Но ее озабоченность атрибутами престижа и официальным распределением благ, почестей и форм увековечения была вполне реальной. От выдачи пропуска в бессмертие Мандельштаму обратимся к представлению места для памятника Пастернаку.

– Ему очень много будет написано стихов. Ему – и о его похоронах.

А памятник, я думаю, следует поставить либо на Волхонке («с бульвара за угол есть дом»), либо против почтамта. Там, кажется, сейчас стоит Грибоедов. Но Грибоедова можно переставить; ему ведь все равно где, лишь бы в Москве (Чуковская 2: 333).

При всей разумности предлагаемых мер (ныне, кстати, широко осуществляемых), такая оперативность в перестройке работы отдела памятников несколько озадачивает. Тем более, что широкий начальственный жест Ахматовой в пользу Пастернака (за счет Грибоедова) выглядит не совсем искренним на фоне ее болезненного соперничества с ним в 50-е годы, обостренного обнаружившейся недооценкой им ее поэзии и находившего себе выход в форме многочисленных претензий к его нашумевшему роману, к его мировой славе, положению в советском обществе и даже к личной жизни.

[Выслушав] мой доклад [о болезни Пастернака и принимаемых мерах, Ахматова] произнесла с нежданной суворостью:

— Когда пишешь то, что написал Пастернак, не следует претендовать на отдельную палату в больнице ЦК партии.

Это замечание... сильно задело меня. Своей недобротой. Я бы на ее месте обрадовалась... Да, она... к нашему стыду и угрызению, много раз вынуждена была лежать в самых плохих больницах, в общих палатах на 10–15 человек. Надо ли желать того же Пастернаку? И тут я остановилась, испытав удар памяти. Как же я могла позабыть! В Ташкенте, заболев брюшным тифом, Анна Андреевна пришла в неистовую ярость... когда ей почудилось... будто... врач намерен отправить ее в обыкновенную больницу, и была очень довольна, когда, усилиями друзей, ее положили в тамошнюю «кремлевку», в отдельную палату, а потом... в «кремлевский» санаторий для выздоравливающих (Чуковская 2: 218–219).

Разоблачительное воспоминание Чуковской о правах, заявлявшихся Ахматовой одновременно на диссидентское и официальное величие (и на сопутствующее последнему обслуживание), обнажает глубинный симбиоз советского истеблишмента и анти-истеблишмента. Знаменательны также свидетельства пристрастия Ахматовой к характерной риторике претензий на более высокий чин в оппозиционной иерархии.

— Добрая старушка Москва изобрела, будто шведский король приспал нашему правительству телеграмму с просьбой не отнимать у Пастернака «поместье Переделкино». Вздор, конечно. Но если это правда, то он не король, а хам: где он был, когда меня выселяли из Шереметьевского дома? — Она даже порозовела от негодования. — Не сказал ни словечка! А ведь по сравнению с тем, что делали со мною и с Зощенко, история Бориса — бой бабочек!

«А по сравнению с тем, что сделали с Мандельштамом... история Ахматовой и Зощенко — бой бабочек», — подумала я.

Конечно, ее мука с пастернаковской несравнима, потому что Лева был на каторге, а сыновья Бориса Леонидовича, слава богу, дома. И она была нищей, а он — богат. Но зачем, зачем ее тянет сравнивать — и гордиться?...

[После похорон Пастернака Ахматова с]нова — не только соболезнует, но [и]... гневается.

— На днях из-за Пастернака поссорилась с одним своим другом. Вообразите, он вздумал утверждать, будто Борис Леонидович был мученик, преследуемый, гонимый и прочее. Какой вздор! Борис Леонидович был человек необыкновенно счастливый... К чему затевать матч на первенство в горе?... Все это я произнесла осторожно... Анна Андреевна слушала, не удостаивая ме-

ния возражениями. Только ноздри вздрагивали (как у графинь в плохих романах) (Чуковская 2: 275, 335).

Другой мемуарист, осмысляя напряженное отношение Ахматовой к Пастернаку, пишет, что оно

привело [ее] к... «величественному эгоцентризму»... Правда, Анна Андреевна была слишком умна, чтобы воображать себя Анной-пророчицей или мечтать о славе Семирамиды. Но все же она... в те годы не отказалась бы от мечты о памятнике на гранитной набережной Невы (Шервинский: 297).

Эта "мечта о памятнике" перекликается с Эпилогом ахматовского "Реквиема" (1940):

А если когда-нибудь в этой стране  
Воздвигнут задумают памятник мне,  
Согласье на это даю торжество,  
Но только с условьем – не ставить его  
Ни около моря, где я родилась [...]]  
Ни в царском саду у заветного пня [...]]  
А здесь, где стояла я триста часов  
И где для меня не открыли засов [...]]  
И пусть с неподвижных и бронзовых век  
Как слезы струится подтаявший снег  
И голубь тюремный пусть гулит вдали,  
И тихо идут по Неве корабли.

(1: 370)

Правда, в контексте своей «народной» поэмы,<sup>18</sup> более традиционным, личным или парадным площадкам Ахматова предпочитает место, родившее ее, выражаясь по-мандельштамовски, "с гурьбой и гуртом". Но все же она не отказывается ни от монументальной бронзы, ни от невского фона. Ахматова, в стихах и в жизни охотно позировавшая на фоне медного всадника и петербургских дворцов, ясно провидит бронзовые веки собственной статуи. Более того, даже настойчивое подчеркивание своей жертвенной причастности общей судьбе совмещено с противоположной и очень характерной для Ахматовой фигурой «женского своеволия»: выбор места для памятника строится по формуле «не хочу этого-то и этого-то, а только вот этого».

Тема «памятника поэту» претерпела в постклассическую эпоху ряд метаморфоз. Прижизненная заявка на памятник стала звучать нескромно и нуждаться в тех или иных сентиментальных или демократических поправках, превращающих памятник в фигуру речи. Так, Фома Фомич Опискин,

пародирующий Гоголя и, шире, фигуру «российского автора-деспота», восклицает:

Живи, живи, будь обесчещен, опозорен, умален, избит, и когда засыплют песком твою могилу, тогда только опомнятся люди, и бедные твои кости раздавят монументом!... О, не ставьте мне монумента!... Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо!...! (Достоевский 3: 146).

А Маяковский, возвращаясь перед смертью к «бронзовой» теме, оснащает ее не только «высокими» атрибутами – мотивами «бессмертной славы», «оружия», «боя», «социализма», но и подчеркнуто «низкими» – «смирением», «растворением в рядовой массе», «превращением в отдельные железки». А главное, он безжалостно развенчивает самую идею личного изваяния – как «многопудье» и «слизь».

Неважная честь,/ чтоб из эстаких роз  
мои изваяния высились [...]  
Но я/ себя/ смирял,/ становясь  
на горло/ собственной песне [...]  
В курганах книг,/ похоронивших стих,  
железки строк случайно обнаруживая,  
вы/ с уважением/ ощупывайте их,  
как старое,/ но грозное оружие [...]  
Стихи стоят/ свинцово-тяжело,  
готовые и к смерти/ и к бессмертной славе [...]  
Пускай/ за гениями/ безутешно вдовой  
плетется слава/ в похоронном марше –  
умри, мой стих,/ умри, как рядовой,  
как безымянные/ на штурмах мерли инаци!  
Мне наплевать/ на бронзы многопудье,  
мне наплевать/ на мраморную слизь.  
Сочтемся словою – / ведь мы свои же люди, –  
пусть нам/ общим памятником будет  
построенный/ в боях/ социализм.  
(«Во весь голос», 1930; 10: 279–284)

В результате, несмотря на весь гигантизм и боевой напор Маяковского, его заявка на памятник оказывается скромнее ахматовской.

Еще более радикальный, поистине деконструктивный, отказ от «бронзы» удается Мандельштаму:

... И потому эта улица  
Или, верней, эта яма  
Так и зовется по имени

Этого Мандельштама...  
(“Это какая улица?...”; 1935; 1: 213).

Свой памятник он мыслит не в виде статуи, хотя бы и плачущей, а в виде ямы – зияния, а не выступа. Это решение тем интереснее, что Мандельштам разделял с Ахматовой акмеистическую ориентацию на классику, осозаемые артефакты, памятники культуры и т. д. Но его зависть к монументальным формам ограничивалась соревновательным желанием создать нечто подобное:

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,  
Я изучал твои чудовищные ребра, –  
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй  
И я когда-нибудь прекрасное создам...  
(“Notre Dame”; 1912; 1: 84).

«Монументализм» же лирической героини Ахматовой носит отчетливо эгоцентрический характер:

... А там, мой мраморный двойник [...]  
Холодный, белый, подожди,  
Я тоже мраморною стану.  
(“В Царском Селе”, 2; 1911; 1: 63).

В тридцатые годы Мандельштам уходит от неоклассицистической поэтики, тогда как Ахматова не только продолжает ее разрабатывать, но и находит в ее рамках, особенно при последующем обращении к военной теме, образы, совместимые с официально-патриотической идеологией (например, в стихотворении “Nox. Статуя «Ночь» в Летнем Саду”; 1942). Маяковский же вообще гибнет на пороге сталинской эпохи, сменяющей революционно-авангардистскую, динамичную, поликентрическую, «горизонтальную», железно-конструктивистскую «Культуру-Один» – новоимперской, консервативной, статичной, централизованной, иерархической, мраморно-статуарной «Культурой-Два» (в смысле работы Паперный 1985).

В этой связи любопытно высказывание Ахматовой о причинах ранней гибели Маяковского:

Разговор перешел на тему о... «непризнанности» поэта...  
– Да, ему это было невыносимо... Мужчины этого перенести не могут... особенно такой, как Маяковский (Реформатская; 542).

Ахматова как бы приписывает собственную «выживаемость» своим «женским» хитростям, скрывающим «бронзу» под «хрупкостью». В более широком смысле, однако, существенное различия в составе самой «бронзы». С точки зрения Маяковского, чисто орнаментальные бронза и мрамор – ненужная роскошь; для коллективного памятника подходящим материалом являются функциональные железо и свинец. При этом, хотя речь идет вроде бы о строительстве социализма, мыслится оно отнюдь не «конструктивным, созидающим, разрушительным», а «сражающим, разрушительным» – как *построенный В БОЯХ социализм*.

Эту «деструктивность» Маяковского Ахматова хорошо понимала и ценила, отдавая должное жизнетворческому успеху его ниспровержательной стратегии. Об этом она писала в стихах:

То, что разрушал ты, разрушалось,  
В каждом слове бился приговор.  
(“Маяковский в 1913 году”; 1940; 1: 241)

и при встрече объяснила Исаиэ Берлину:

Она сказала, что Маяковский был, безусловно, гений, не великий поэт, но великий литературный новатор, террорист, чьи бомбы взрывали старые структуры, крупная фигура, чей темперамент брал верх над талантом, – разрушитель, взрыватель всего на свете, и разрушение было, конечно, заслуженным (Берлин: 285).

В этих отзывах за точно отмеренными похвалами прочитывается сознание собственного превосходства – в смысле как масштабов таланта, так и его конструктивности, а значит, и долговечности.

Действительно, поэзия Ахматовой не разрушительна, а охранительна.<sup>19</sup> Одним из проявлений установки на «сохранность» было и ахматовское пристрастие к памятникам, статуям, мрамору.

[Е]е поэзия была как бастион: казалась лирической, но по своей природе была монументальна. В молодых стихах Ахматовой уже есть та законченность и совершенство формы, что... в ее... поздних стихах. В мире происходят катаклизмы, хоронится эпоха... – все это... отражено... И все-таки никогда в [ее стихах] не бушует стихия, никогда она сама не вовлекается в водоворот. Остается бег времени, но не бег поэта.

Поэзия Ахматовой, может быть, наиболее статична во всей русской поэзии (Павлович: 113–114).

Аналогичная «монументальность» была свойственна и внешнему облику Ахматовой.

Для меня в строгом облике Ахматовой всегда было нечто от классической красоты Ленинграда (Журавлев: 327).

Ахматова приветлива. Но сквозь весь ее облик проглядывает что-то ледяное, какая-то неподвижность, отдающая уже памятником (Басалаев: 170).

[Людям, не знавшим Ахматову, [она] чудилась уже памятником... и вели [оны] себя так, как будто пришли в гости к памятнику. И это... вызывало у нее двойственное чувство: лишенная всякого общественного признания, Ахматова была рада знакам почтительности и даже преклонения (1990: 383).

Ахматова появилась во время обеда.... [М]ой взор был прикован к [ней], и владело мною в тот миг чувство, похожее на то, которое я испытала, впервые увидев фальконетовский памятник Петру Первому: «Неужели это тот самый памятник, и я, я его вижу?» (Ильина: 569).

В сущности, «монументальность» была обратной стороной той «подавляющей тяжеловесности», о которой подробно говорилось выше. Для того чтобы "из тяжести недоброй... прекрасное созда[ть]", Ахматовой не нужно было далеко ходить за материалом.

Ахматовская «монументальная статичность» и установка на «бронзу и мрамор», а не «железо»,<sup>20</sup> неожиданно оказались созвучны реставрационным тенденциям сталинского режима – при том, что сама Ахматова большей частью находилась в опале.

[В] так называемые «патриотические» годы второй мировой войны, прозванной «отечественной», восстановившей (по приказу коммунистического интернационала) военные чины, погоны, эполеты, народившей маршалов и вернувшей к жизни раздавленный термин «Родина», – поэзия Ахматовой вновь зазвучала (Анненков 1: 127).

Союз ахматовского ампира с советским обнаружил большую устойчивость и, пережив крушение коммунизма, имеет все шансы на продолжение в постсоветскую эпоху, с ее острой потребностью в заполнении идеологического вакуума и поисками ответа в обращении к националистическим, державно-монархическим и православным ценностям. Фигура Ахматовой, соединяющая именно такой идеологический потенциал с бесспорностью поэтической репутации, ореолом диссидентского мученичества и русско-татарским именем, апеллирующим к смешанному славяно-турко-угро-финскому этносу современной России, хорошо отвечает этим запросам.

Постановка ей памятников, как бронзовых, так и мраморных, не за горами.<sup>21</sup>

### Примечания

- <sup>1</sup> Об ахматовском преувеличении роли статьи Чуковского см. Будыко 1990: 465, Виленкин 1990: 45, Коваленко 1992: 171; попытки найти точки схождения между двумя поэтами см. в Эвентов 1990, Каисс 1991, Коваленко 1992; радикальный пересмотр оппозиции «Ахматова – Маяковский» см. в Жолковский 1995. Образцы анализа жизнетворческих текстов см. в Паперно 1988, Гроссман и Паперно 1994; об ахматовских стратегиях см. Холмгрен 1993, Келли 1994, Жолковский 1995, 1996.
- <sup>2</sup> “[Ахматова:] – И подумать только, что когда мы все умрем... – и я, и Лили Юрьевна [Брик], и Анна Дмитриевна [Радлова], – историки во всех нас найдут что-то общее, и мы все – и Лариса [Рейснер], и Зинаида Николаевна [Гиппиус] – будем называться: «женщины времени...». В нас непременно найдут общий стиль” (Чуковская 1: 62).
- <sup>3</sup> См., соответственно, Недоброво: 238–253, Катанян: 520, Адмони: 342–343; подробнее эта проблема разработана в Жолковский 1995. Настоящая статья вообще является лишь фрагментом более широкого монографического исследования о жизнетворческих стратегиях Ахматовой, и многие темы затрагиваются здесь лишь бегло.
- <sup>4</sup> “Ахматова подозревала, что за ней записывают... и иногда говорила на запись, на память, на потомков, превращаясь из Анны Андреевны в эре-перенниус-пирамидальциус” (Найман: 169); она считала себя наиболее авторитетным “ахматоведом” (там же: 88); и редактировала воспоминания о ней современников (см. Пунина 1: 25) и даже собственные портреты (Астапов: 407, Королева 123).
- <sup>5</sup> Как показывает история, полностью уничтожить “компромат” на себя оказывается не под силу даже таким корифеям тотального жизнетворческого контроля, как Сталин.
- <sup>6</sup> Эта отсылка к стихотворению “Мне ни к чему одицкие рати...” имеет отнюдь не орнаментальные цели; разбор этого стихотворения в плане властных стратегий см. Жолковский 1995.
- <sup>7</sup> Ср. замечание Недоброво о том, что страсти ахматовской лирической героини “внушают” подозрение в выдуманности” (Недоброво: 251).
- <sup>8</sup> Хлопоты Зощенко позволяют процитировать знаменитое рассуждение в одном из его рассказов о преимуществах коммунальной квартиры: “Конечно, заемть собственную отдельную квартирку – это все-таки

как никак мещанство. Надо жить дружно, коллективной семьей, а не засиляться в домашней крепости. Надо жить в коммунальной квартире. Там все на людях. Есть с кем поговорить. Посоветоваться. Подраться" ("Летняя передышка"; 1: 430)

- <sup>9</sup> Подробно о такой взаимосвязи применительно к Мандельштаму см. Фрейдин 1987 (ix–x, 1–33, особенно 32).
- <sup>10</sup> Как говорится в анекдоте, тот факт, что у меня паранойя, еще не доказывает, что КГБ не существует.
- <sup>11</sup> Одновременная, часто иерархизованная, манипуляция более чем одним помощником является неизбежным продуктом властных игр. Ср. выше в тексте пример с Гаршиным, звонящим Чуковской с «вызовом» от Ахматовой (Чуковская 2: 78), а также:  
"На лестнице я обогнала Ольгу Николаевну с корзинкой: она несла Анне Андреевне обед" (Чуковская 1: 35).  
"Эмма кормит Анну Андреевну какой-то диетической едой, которую заранее приготовила Нина Антоновна".  
"[Ж]ила я с выключенным телефоном. Писала. Лил дождь. Внезапный стук в дверь. Это Наталья Ильина, командированная за мною Анной Андреевной" (Чуковская 2: 125, 152).
- <sup>12</sup> Холмгрен подробно рассматривает властную подоплеку ахматовской игры в беспомощность, ставившую ее во главе целого коллектива добровольных помощниц (1993: 8–9, 71–91). Напрашивается сравнение с аналогичными играми Гоголя (ср. Фрейдин: 7), которое может быть распространено и на его «коллективный» – по-советски совместный с читателями – метод работы над окончанием "Мертвых душ" (см. Терц-Синявский: 288–289), напоминающий ахматовскую работу над "Поэмой без героя". Параллели между жизнетворческими стратегиями Ахматовой и Гоголя (и его карикатурного двойника в "Селе Степанчикове" Достоевского, о котором речь пойдет ниже) – богатая тема.
- <sup>13</sup> О "системе жестов" Ахматовой см. Гинзбург: 126.
- <sup>14</sup> «Советизмы» в речи и поведении Ахматовой не сводятся к названным. Так, еще одна любопытная их разновидность – исполнение ею официально санкционированных ролей в качестве советской, российской и даже тюркской поэтессы. Ср. эпизод из ее ташкентской жизни с выступлением на открытии арыка: "Гафур [Гулям]... говорит ей: «Вас зовут Анна, а по-узбекски ана – мать. Поедем со мной в кишлак... там завтра пускают первую воду на пустынные поля»" и т. д. (Сомова 1991: 373–374).
- <sup>15</sup> Поразительную параллель к подобному страху перед Ахматовой у делающей добро дело подруги находим в недавних воспоминаниях Эммы Герштейн:

"Когда после исправлений, вычеркваний и дополнений я переписала письмо [в лагерь Л.Н. Гумилеву, 1940 г.] и опустила его в почтовый ящик, у меня закружилась голова от страха... [многоточие в тексте Герштейн] перед Анной Андреевной. А вдруг она будет меня винить за этот поступок?! Впрочем, ведь она сама дала мне его норильский адрес" (1993, 2: 165).

<sup>16</sup> К постановке этой проблемы близко подошли Верхейл, Келли, Лукницкий, Найман, Холмгрен.

<sup>17</sup> Ср. выше о внутреннем сопротивлении Ахматовой переезду в некоммунальную квартиру.

<sup>18</sup> По проницательному наблюдению Наймана, "«Реквием» – это советская поэзия, осуществленная в том идеальном виде, какой описывают все декларации ее. Герой этой поэзии народ..." (1989: 134).

<sup>19</sup> Многие писавшие об Ахматовой отмечают ее возвращение в конце творческого пути к символистской обобщенности, см. например, Гинзбург: 129; о возраставшей с годами традиционности ахматовского стиха см. Гаспаров 1993.

<sup>20</sup> "Железо" иногда фигурирует в (авто)характеристиках Ахматовой, но не в идеализированных представлениях о ее статуарной личности.

<sup>21</sup> Продолжая сравнение с Опискиным (заслуживающее разработки по многим линиям), можно обратиться к Заключению "Села Степанчикова": "Фома Фомич лежит теперь в могиле...; над ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора, весь испещренный плачевными цитатами и хвалебными надписями... [П]ропинают каждое его слово, что он ел, что любил. Вещи его сберегаются как драгоценность" (Достоевский, 3: 165). О теме памятника в поэзии Ахматовой см. Небольсин 1992.

## Л и т е р а т у р а

АА 1993 – *Anna Akhmatova. 1889–1989. Papers from the Akhmatova Centennial Conference, June 1989*. Ed. Sonia I. Ketchian. Oakland, CA: Berkeley Slavic Specialties.

Адмони, В. Г. 1991. "Знакомство и дружба", *BAA*, 332–347.

Алигер, М. 1991. "В последний раз", *BAA*, 349–368.

Ардов, М. 1990. "Легендарная Ордынка", *Чистые пруды. Альманах*. Вып. 4-й. С. 640–684. М.: Московский рабочий.

Астапов, В. 1990. "Сеансы в Комарове", *OAA*, 398–410.

- Ахматова, А. 1967, 1968, 1983. *Сочинения*. З тт. Inter-Language Literary Associates; Paris: YMCA-Press.
- АЧ 1992 – *Ахматовские чтения*. З выпуска (*Царственное слово; Тайны ремесла; "Свою меж вас еще оставил тень..."*), Сост. Н. В. Королева и С. А. Коваленко. М.: Наследие.
- Анненков, Ю. 1991. *Дневник моих встреч. Цикл трагедий*, 2 тт. М.: Художественная литература.
- Басалаев, И. М. 1990. "Записки для себя" (1926–1939) (отрывок), *OAA*, 170–172.
- Берлин, И. 1989 [1982]: "Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 гг.", *Найман*, 267–292.
- Будыко, М. И. 1990. "Рассказы Ахматовой", *OAA*, 461–506.
- ВАА 1991 – *Воспоминания об Анне Ахматовой*, Сост. В. Я. Виленкин и В. А. Черных. М.: Советский писатель.
- Верхейл, К. 1992. "Несколько послеахматовских воспоминаний", *АЧ* 3, 46–50.
- Виленкин, В. 1990. *В сто первом зеркале*, Изд 2-е. М.: Советский писатель.
- Гаспаров 1993 – M. L. Gasparov, "The Evolution of Akhmatova's Verse", *AA*, 68–74 (рус. вар.: "Литературное обозрение" 1989 5: 26–28).
- Герштейн, Э. 1991 (1). "Тридцатые годы", *BAA*, 248–257.
- Герштейн, Э. 1991 (2). "В Замоскворечье", *BAA*, 545–55.
- Герштейн 1992. "Реплики Ахматовой", *АЧ* 3, 4–11.
- Герштейн 1993 (1, 2). "Лишняя любовь. Сцены из московской жизни", *Новый мир*, 1993, 11: 151–185, 12: 139–174.
- Гозенпуд, А. А. 1990. "Неувядшие листья", *OAA*, 311–328.
- Гинзбург, Л. Я. 1991. "Ахматова (Несколько страниц воспоминаний)", *BAA*, 126–141.
- Гитович, С. 1991. "В Комарове", *BAA*, 503–519.
- Достоевский, Ф. М. 1972–1988. *Полное собрание сочинений*, 30 тт. Л.: Наука.

- Журавлев, Д. Н. 1991. "Анна Ахматова", *BAA*, 326–331.
- Жолковский, А. К. 1995. "Из заметок об Анне Ахматовой", [Сборник к 60-летию М. Л. Гаспарова.] Сост. И. Ю. Подгаецкая и К. М. Поливанов (в печати). М.: Радикс.
- Жолковский 1996 – Alexander Zholkovsky, "Anna Akhmatova: Scripts, Not Scriptures (рец. на Ридер 1994)", *Slavic and East European Journal* 40 (в печати).
- Зернова, Р. 1992. "Иная реальность", *AЧ3*, 18–39.
- Зощенко, М. 1986–1987. *Собрание сочинений*, 3 тт. Л.: Художественная литература.
- Иванов, Вяч. Вс. 1991. "Беседы с Анной Ахматовой", *BAA*, 473–502.
- Ивановский, Игн. 1991. "Анна Ахматова", *BAA*, 614–626.
- Ильина, Н. 1991. "Анна Ахматова, какой я ее видела", *BAA*, 569–594.
- Катанян, В. А. 1985. *Маяковский: хроника жизни и деятельности*, М.: Художественная литература.
- Кацис, Л. Ф. 1991. "Заметки о стихотворении Анны Ахматовой 'Маяковский в 1913 году'", *Russian Literature* 30, 317–336.
- Келли 1994 – Catriiona Kelly, "Anna Akhmatova (1889–1966)", C. Kelly, *A History of Russian Women's Writing, 1820–1992*, Oxford: Clarendon Press, P. 207–223.
- Коваленко, С. А. 1992. "Ахматова и Маяковский", *AЧ1*, 166–180.
- Козловская, Г. Л. 1991. "Мангaloчий дворик...", *BAA*, 378–400.
- Кондратович, А. И. 1991. "Твардовский и Ахматова", *BAA*, 674–682.
- Королева, Н. В. 1992. "Анна Ахматова и ленинградская поэзия 1960-х годов", *AЧ 3*, 117–132.
- Латманизов, М. В. 1990. "Беседы с А. А. Ахматовой", *OAA*, 507–530.
- Лукницкий, П. Н. 1991 (1). *Встречи с Анной Ахматовой*. Т. 1. 1924–25 гг. Paris: YMCA-Press.
- Лукницкий, П. Н. 1991 (2). "Из дневника и писем", *BAA*, 142–178.
- Любимова, А. В. 1991. "Из дневника", *BAA*, 420–435.

- Максимов, Д. Е. 1991. "Об Анне Ахматовой, какой помню", *BAA*, 96–125.
- Мандельштам, О. 1990. *Сочинения*. 2 тт. М.: Художественная литература.
- Мандельштам, Н. Я. 1991. "Из воспоминаний", *BAA*, 299–325.
- Маяковский, В. 1955–1961. *Полное собрание сочинений*, 13 тт. М.: Художественная литература.
- Мейлах, М. Б. 1992. "... Свою меж вас еще оставив тень", *AЧЗ*, 152–173.
- Меттер, И. 1990. "Седой венец достался ей недаром", *OAA*, 380–390.
- Найман, А. Г. 1989. *Рассказы о Анне Ахматовой*, М.: Художественная литература.
- Наппельбаум, И. 1990. "Фон к портрету Анны Андреевны Ахматовой", *OAA*, 197–213.
- Небольсин, С. А. 1992. "О жанре «Памятника» в наследии Ахматовой", *AЧ2*, 30–38.
- Недоброво, Н. В. 1989 [1915]. "Анна Ахматова", *Найман*, 237–258.
- ОАА 1990 – *Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма*. Сост. М. М. Кралин. Л.: Лениздат.
- Островская 1988 – Sophie Kazimirovna Ostrovskaya, *Memoirs of Anna Akhmatova's Years 1944–1950*, Trans. Jessie Davies. Liverpool: Lincoln Davies & Co.
- Павлович, Н. 1990. "Из книги «Невод памяти»", *OAA*, 109–114.
- Паперный, В. 1985. *Культура "Два"*, Ann Arbor: Ardis.
- Паперно 1988 – Irina Paperno, *Chernyshevskii and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior*, Stanford, California: Stanford University Press.
- Паперно и Гроссман 1994 – Irina Paperno, and Joan Delaney Grossman, eds. 1994. *Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism*, Stanford, California: Stanford University Press.
- Пунина, И. Н. 1991 (1). "Об Анне Ахматовой и Валерии Срезневской", *BAA*, 20–27.
- Пунина, И. Н. 1991 (2). "Сорок шестой год...", *BAA*, 465–472.

- Пунина, И. Н. 1991 (3). "Анна Ахматова на Сицилии", *BAA*, 662–669.
- Пушкин, А. С. 1937–1949. *Полное собрание сочинений*. 16 тт. М.: АН СССР.
- Реформатская, Н. В. 1991. "С Ахматовой в музее Маяковского", *BAA*, 542–546.
- Ридер 1994 – Roberta Reeder, *Anna Akhmatova: Poet and Prophet*, New York: St. Martin's Press.
- Роскина, Н. 1991. "Как будто прощаюсь снова", *BAA*, 520–541.
- Сомова, С. 1991. "Анна Аматова в Ташкенте", *BAA*, 369–374.
- Терц, А. (Андрей Синявский). 1975. *В тени Гоголя*. Лондон: Overseas Publications Interchange.
- Фрейдин 1987 – Gregory Freidin, *A Coat of Many Colors. Osip Mandelstam and his Mythologies of Self-Presentation*, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.
- Холмгрен 1993 – Beth Holmgren, *Women's Works in Stalin's Time: On Lidia Chukovskaya and Nadezhda Mandelstam*, Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
- Чуковская, Л. К. 1989, 1980. *Записки об Анне Ахматовой*. 2 тт. Т. 1. 1938–1941. М.: Книга; Т. 2. 1952–1962. Paris: YMCA-Press.
- Чуковский, К. И. 1921. "Ахматова и Маяковский", *Дом Искусства* 1, 23–42.
- Шервинский, С. В. 1991. "Анна Ахматова в ракурсе быта", *BAA*, 281–298.
- Эвентов, И. С. 1990. "От Фонтанки до Сицилии", *OAA*, 360–379.
- Эмерт 1993 – Susan Amert, "«Predistoria»: Akhmatova's Aetiological Myth", *AA*, 13–28.